

ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

ЛЮБИНА

РОЩА

Георгий Баженов

Любина роща

«Баженов Георгий Викторович»

2006

ББК 84(2РосРус)6

Баженов Г. В.

Любина роща / Г. В. Баженов — «Баженов Георгий Викторович»,
2006

ISBN 978-5-711-70113-2

«Любина роща» – лучший роман из более чем двадцати книг Георгия Баженова, созданных писателем за долгую литературную карьеру. Многие годы роман вынужденно пролежал в столе автора, затем наконец был напечатан и неоднократно с успехом переиздавался в России. Любовь как самоотречение и подвиг Женщины – вот нравственное ядро романа. Читайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.

ББК 84(2РосРус)6

ISBN 978-5-711-70113-2

© Баженов Г. В., 2006

© Баженов Георгий Викторович, 2006

Георгий Баженов

Любина роща. Московский роман

*Памяти замечательного русского переводчика
Леонида Горбика*

*...вижу, ясно вижу, создатель, что мне уготована вечная кара,
ожидающая тех, кто совершал зло, зная, в чем добро.
Микеланджело*

Мать сидела на кухне, когда Люба выкатила на балкон коляску с сыном; Сережа во сне чмокал губами.

Мать завтракала, задумчиво глядя в окно. Любуясь Сережкой, Люба нежно улыбалась, но, встретившись с матерью взглядом, сразу стала серьезной и деловой. Независимо и гордо неся впереди себя живот (она ждала второго ребенка), Люба ушла к себе в комнату, занялась уборкой.

После завтрака мать начала гладить на кухне белье, которое постирала еще вчера. Потом она ушла в свою комнату.

Позже очень мучительным окажется то, как по их квартире будет ходить следовательно, как он будет спокойно и деловито измерять рулеткой расстояние от коляски до края балкона и, главное, как он будет смотреть на них, на мать и на Любу... как будто это они могли убить Сережу. Во взгляде следователя не будет сочувствия, только недоверие и безжалостность.

Валентин, вызванный телеграммой, прилетит лишь на следующий день.

Когда Люба очнулась, Сережу уже увезла «скорая помощь». Рядом с Любой осталась одна молоденькая медсестра в белом халате, она беспрестанно подносила к ее носу нашатырный спирт, и Люба в конце концов с трудом, но открыла отяжелевшие веки...

Через полтора часа, вызванная соседями, приехала Вероника. Больше полугода, с последней ссоры, она не приезжала сюда, ни к матери, ни к Любе с Валентином. Люба лежала на диване, глаза у нее были отрешенно-мутные, она смотрела в потолок в одну точку и не понимала, о чем спрашивала старшая сестра. Вероника спрашивала, вызвали ли Валентина. Но кто его мог вызвать?.. Это именно Вероника пошла на почту и отбила Валентину телеграмму.

Сначала был звонок. Звонила мать (она поехала с Сережей на «скорой помощи»), трубку подняла Вероника. Мать сказала:

– Все кончено. – И, даже не стараясь сдерживать себя, что так не походило на мать, рыдалась в трубку.

Люба как будто что-то почувствовала, прислушивалась к телефонному разговору. Вероника положила трубку на рычаг и медленно, будто в глубокой задумчивости, подошла к Любе.

– Он умер, – тихо, с трудом выдавила из себя Вероника.

– Нет! – Люба закрыла глаза. – Не может быть!..

Вероника обняла ее трясущиеся плечи, из глаз у нее тоже полились слезы, но Люба вдруг оттолкнула сестру:

– Не трогай меня! Я не верю вам! Вы лжете, вы все лжете... – Глаза у нее, когда она кричала, были ненормальные.

Мать вернулась, и Вероника в первый момент с трудом узнала ее. От бывшей материнской статности и величавости ничего не осталось: она отяжелела, сгорбилась, как будто несла на плечах грузную ношу. Дышала мать трудно, с придыханием, держа правую руку на сердце – там нестерпимо давило.

Ни мать, ни Вероника не сказали друг другу ни слова. Нечего было говорить.

С порога мать заглянула в Любину комнату и, как бы еще не решаясь, все же превозмогла себя, вошла к дочери. Люба смотрела на мать затравленно, испуганно, натянув одеяло до подбородка.

Мать села на стул рядом с Любой и, борясь со слезами, тихо проговорила:

– Он умер, наш мальчик... – И еще тише добавила: – Завтра его можно будет забрать...

– Это ты убила его! – выдавила из себя Люба. – Ты, ты!

– Люба, как ты можешь... – укоризненно проговорила Вероника.

– А ты молчи! Ты вообще молчи! – в исступлении закричала на старшую сестру Люба. – Тебе было наплевать на меня! На Сережу! На Валентина! Вам всем было наплевать на нас! Вы отвернулись от нас – так радуйтесь теперь, радуйтесь!

– Что ты говоришь, глупая... – сквозь слезы отвечала мать. – Подумай только... что ты говоришь!

– А ты... разве ты мать?! Разве ты бабушка?! – продолжала Люба. – Ты же видела, он на балконе. Ты же была на кухне. Ты нарочно ушла оттуда...

– Ты просто не в себе! – защищалась мать. – Ты хоть думай, что ты говоришь!

– А разве ты не видела, что он на балконе? Ты же знаешь, когда он на балконе, я всегда сижу на кухне, слежу за ним. Я ушла из кухни, потому что там была ты.

– Но ты мне ничего не сказала!

– Ах, тебя нужно попросить?! Перед тобой нужно упасть на колени?! А ты сама не могла догадаться, что его нельзя оставлять без присмотра? Ты ушла оттуда и мне ничего не сказала. Ты оставила его... А-а, я знаю, – вдруг как бы даже с воодушевлением заговорила Люба, – вы все хотели нам зла, и мне, и Валентину, и Сережику – ну вот теперь дождались, радуйтесь! Что же вы?!

– Люба, прекрати! Прекрати сейчас же! – не выдержала Вероника.

– А ты вообще молчи, сестра называется! Это вы, вы... я вас всех... ненавижу! Уходите отсюда, уходите из моей комнаты!

Лицо у матери покрылось серыми, почти черными пятнами, она стала судорожно хватать ртом воздух, и, если б не Вероника, которая вовремя поддержала ее, мать свалилась бы со стула. У нее была давняя ишемическая болезнь сердца – сердце частенько сдавало, особенно в минуты волнений, и мать, задыхаясь от удушья, нередко была между жизнью и смертью.

– В тумбочке... – еле слышно прошептала мать.

Вероника бросилась в комнату матери, схватила пузырек и вложила ей в рот сразу две таблетки. Мать проглотила их судорожным движением, не запивая водой.

Через какое-то время она попыталась приподняться со стула, Вероника помогла ей и осторожно повела ее в свою комнату. Люба смотрела им вслед с ненавистью. Она никогда не верила в болезнь матери. Ей казалось, мать просто-напросто ломает комедию, когда ей это нужно.

Уложив мать в постель, Вероника стала названивать по ноль-три.

«Всполошились... – затравленно билось Любино сердце. – Плохо им... А Сережика нет. Нет!.. Как же так? Почему? Почему именно у меня?!» – И сами собой текли слезы.

«Скорая» приехала через тридцать минут. Любе тоже сделали укол – успокаивающий. Но успокоиться она не могла. Не могла ни успокоиться, ни уснуть. А словно проваливалась в бездну и, приходя в себя, покрывалась липким потом. Кроме того, у нее нестерпимо болел низ

живота – ребенок внутри как будто сошел с ума и в отчаянии колотил ножками так, что по животу буграми ходили волны. «Что я скажу Валентину? Что?!..»

А Валентин в это время еще не знал ничего. Он узнает обо всем только завтра...

Поздно вечером приехал Саша. Когда Люба была совсем маленькая, он, приходя к старшей сестре на свидание, приносил младшей подарки, чаще всего конфеты. И вообще вел себя так, будто Люба была ему ровней и все-все понимала как надо, как взрослая. Люба платила ему беспримерной преданностью: в ссорах его с Вероникой или матерью всегда принимала сторону Саши. Может, объяснялось это тем, что Люба росла без отца. А скорей всего – он просто вел себя с Любой так, как никто из взрослых: легко, весело, непринужденно, не читал мораль, не расспрашивал из вежливости об учебе, не подчеркивал без конца и без нужды, что она должна уважать и слушаться взрослых, что она еще маленькая, глупая, ничего не понимает в жизни. Какой это большой душевный дар – видеть в ребенке настоящего, сложного, равного себе человека! С тех пор прошло двадцать с лишним лет, но дружба между ними осталась не замутнённой даже последними семейными ссорами, осталась чистой, поразительной на чужой взгляд.

Открыла Саше Вероника и, приставив палец к губам, выразительно показала на Любину дверь. Саша понимающе кивнул. От него пахло вином, но Вероника ничего не сказала, сдержалась. Саша на цыпочках прошел в Любину комнату.

Вероника постояла немного около двери и, услышав глухой всхлип: «Саша! Сашенька! Господи Боже мой, горе у меня какое-е!..» – ушла в комнату матери.

Люба повисла у Саши на шее, лицо у нее было безобразное, губы распухли, глаза пустые, стеклянные, нос разбух, под глазами синие в черноту впадины, волосы спутаны, – и вся она, в безумном горе, оглохшая, ослепшая, беременная, не похожая на себя, и слезы ее, и рыдания, и из глубины сердца рвущийся крик – все это раздавило Сашу, вынуло из него душу; все слова его, заготовленные впрок, потерялись перед неутешностью этого горя, и он только молча гладил ее волосы, и, пытаясь хоть что-то сказать в утешение, повторял только ее имя: «Люба! Любушка!.. Любонька!..»

В этой квартире Саша не был тоже больше полу-года. Мать поругалась с Любой, Вероника взяла сторону матери, рассорилась с сестрой, и вот уже полгода Вероника выдерживала характер, не бывала здесь. Саша тоже не бывал, но несколько раз они встречались с Валентином на стороне. Крепко выпивали. Мужики они были слабохарактерные, повлиять на своих жен не могли и, почти не вмешиваясь в междоусобные женские дразги, позволили зайти семейной ссоре довольно далеко. Трудней всех оказалось Любе. Она осталась одна с маленьким Сережкой на руках, к тому же снова забеременела и решила рожать второго. Мать не помогала ни в чем, сестра не звонила, не приезжала: пусть знает, мол, каково оно – жить без помощи родных. Валентин раз в месяц уезжал в командировки – такая у него была работа, и Люба часто просто задыхалась, валилась с ног, и в конце концов ожесточилась: видеть не могла мать, ее невозможное высокомерное лицо, не могла слышать ее лицемерный голос, когда она подолгу разговаривала с кем-нибудь по телефону, жалуясь на здоровье и в то же время без конца рассказывая, какой у нее растет веселый смысленный внук (все ведь спрашивали о нем, не подозревая, что в семье давно идет война).

Взаимная ненависть и неприязнь не ведали уже границ.

Люба наконец уснула, почувствовав рядом единственного человека, которому продолжала верить.

Потом Саша сидел в комнате тещи, молчал; молчал тяжело, упорно. Он, собственно, никого не обвинял. Вероника пыталась сохранить невозмутимость, но Саша-то ее знал, она была в растерянности, и ее тоже душило чувство неясной вины, хотя кто тут в чем виноват? Сердце у матери отошло, она лежала спокойная, но тоже молчала, не спрашивала ни о чем; видно, нелегко у нее было на душе – куда было деться если не от разговора, то от раздумий?

В дом пришла смерть. От многого, за что раньше уважал себя, чем гордился, становится нестерпимо стыдно...

– Выпить-то у вас есть? – почти грубо спросил Саша; он не хотел грубить, просто так получилось – от неожиданности вопроса.

– В холодильнике, – вяло ответила мать. – В бутылке... в фигурной такой...

Это уточнение означало одно: там была и другая бутылка, вероятно – Любина; мать до сих пор, инстинктивно, разделяла свое и Любино.

Вероника вышла вслед за Сашей.

В холодильнике в простой бутылке была водка, в фигурной – джин. Саша колебался мгновение и, хотя лучше бы сейчас водки, не посмел взять Любину бутылку; налил полный стакан.

– Ты что, сдурел? – насторожилась Вероника.

– Молчи!

– Хм, – проглотила грубость Вероника. – Налей мне тоже немного.

– Молчи! – вырвалось у Саши, и он сам удивился несовпадению того, о чем она просила и что ответил он.

– Не хами! – вспылила Вероника. – Герой нашелся...

Саша сдержался, плеснул ей джина в стакан и почти залпом, не прерывая дыхания, выпил свой. Буквально через несколько секунд его повело, глаза стали пустые.

– Иди к матери, – хрипло сказал Веронике.

– Не хочу.

Саша поднял голову, внимательно, даже как будто настороженно посмотрел в глаза жене.

– Не хочешь?

– Чего ты тут раскомандовался? Ты кто такой? – И Саша расслышал в ее голосе нотки ожесточенности и неуступчивости.

Он отступился от жены.

В душе маслянисто растекалось безразличие: такого подлого опьянения еще не было у Саши в жизни.

– Ты видела его? – Он имел в виду Сережу.

– Нет.

– А она? – кивнул он на стенку, за которой лежала мать.

– Она ездила на «скорой» вместе с ним.

– Ну и?..

– Он умер почти сразу. Не приходя в сознание.

– Сволочи! – И неизвестно было, в чей адрес приходились эти слова. Саша взял бутылку, налил еще джина.

– Напьешься ведь...

– Молчи!

– Герой, – покачала головой Вероника. – Повод нашелся, чтоб выпить всласть?

– Эх, дура ты, дура... – Голос у Саши дрогнул, и Вероника с удивлением увидела, как по лицу его потекли слезы.

– Ну ладно, ладно... – как можно мягче проговорила Вероника. – Чего ты?..

У нее от выпитого джина стало немного ровней на душе, но главное – было непонятно, что теперь нужно делать, и от этого росла растерянность. Это были ужасные, томительные минуты ожидания.

Но ожидания чего?

Просто нужно было, чтобы проходил час за часом и чтоб скорей наступал завтрашний, послезавтрашний, послепослезавтрашний день, лишь бы так или иначе все это осталось позади.

Тогда станет легче.

Вероника спала в материной комнате, на раскладушке. Саша всю ночь толком не спал, дремал в кресле рядом с Любой. Посреди ночи Люба несколько раз вскрикивала не своим голосом, звала Сережика, плакала, билась в руках Саши.

Вероника спала, а мать не спала... Не только потому, что болело сердце. Не только из-за того, что смерть Сережи была ужасна. Ей вообще вдруг стало нестерпимо больно жить на свете, ощущать в себе жизнь, которая, кроме мучений, стыда и горя, уже ничего не сулила впереди. Она еще не знала, но уже предчувствовала, что все беды, которые были раньше, это не беды, настоящие беды только начинаются.

Ужасней всего, что после нее останется пустыня. Верней, пустыня уже разверзлась сегодня, показала свой зев. Пока все они были живы, их ссоры казались принципиальными и неизбежно-необходимыми: человек должен быть гордым и независимым, должен защищать свои принципы, свою честь, – отсюда ссоры. Но теперь Сережа погиб, самое крохотное, самое маленькое звено в их семейной цепи разорвано, и ничем нельзя восполнить его жизнь. Ссоры остались по ту сторону его жизни, по эту сторону была только смерть.

Мать неожиданно вспомнила один солнечный яркий день... Вспомнила и легко-легко, краешком губы улыбнулась даже сейчас, под тяжестью душевного груза. Никто не видел ее улыбки, и ни один человек в мире не смог бы упрекнуть ее ни в жестокости, ни в лицемерии – в эти минуты она принадлежала сама себе и вряд ли внутренне лгала, и поэтому позволила себе неожиданную, еле чувствуемую улыбку: в тот день Любу с Сережиком выписывали из роддома, и мать с Валентином суматошно готовились к празднику. У нее уже была внучка – Наташка, родилась она у Вероники с Сашей давно, тринадцать лет назад, и мать порядком подзабыла, что это такое – чувствовать себя новоиспеченной бабушкой, а теперь вспоминала: она была переполнена гордостью и счастьем. Это было счастье само по себе, без примесей, разве что в нем спряталась одна маленькая изюминка – теперь у нее была не только внучка, но и внук. Внук! Мужчина!

В тот день они с Валентином понимали друг друга с полуслова. Нужно было сделать тысячи дел, они спешили, торопились, немного нервничали, но и много смеялись, короче – еле-еле укладывались в нужное время. Одна большая сумка с одеждой набралась для Любы, вторая, меньше, – для Сережика. Подхватили сумки, побежали к трамваю.

Из трамвая выходят, а на остановке их Наташка поджидает. Надутая. Сердитая. Машет руками:

– Где вы так долго, бабушка? Мы вас ждем, ждем!.. «Они нас ждут, – переглянулись мать с Валентином. – А дел-то у нас сколько было? Лучше б пришли, помогли что-нибудь сделать...»

Но это они так, просто так, не ругая и не виня никого, они и правда опаздывали...

– Мама, ну где вы там? – укоризненно встретила их у роддома Вероника. – Уже одежду спрашивали...

Саша им ничего не сказал, обнял, подмигнул обоим, рассмеялся.

У Вероники в руках был огромный букет гвоздик.

В комнате ожидания они передали нянечке одежду для Любы и малыша, и Валентин выскочил на улицу – ловить такси. Видимо, такси ему никак не попадалось; во всяком случае, когда в дверях с малышом на руках показалась няня, а за ней счастливая Люба, Валентина все еще не было. Так он и прозевал в своей жизни это единственное в своем роде мгновение. А

Люба, когда огляделась и не увидела Валентина, чуть не расплакалась от обиды: ну вот, опять его где-то носит!..

И когда наконец он прибежал, они все немного успокоились и теперь уже с покровительственным чувством наблюдали за его растерянностью: он не знал, бросаться ли ему к Любе или к малышу, и получилось, он бросился все же к жене, а мать в это время протянула ему ребенка, и Валентин, неуклюже приняв сына, держа его неумело, на вытянутых руках, ткнулся Любе в лицо, что-то такое пробормотал, вроде: «Привет...» – банальное, глупое, и Люба смотрела на него с обидой, со слезами на глазах, а он толком ничего не мог понять, кроме одного, горького: «Опоздал!» – и вот так, гудящей толпой, они вышли на улицу, стали рассаживаться в такси, и тут вдруг малыш в первый раз подал голос, закуксился, расплакался, чем дальше, тем сильнее, и Люба всполошилась, взяла его на руки, запричитала над ним, стала уговаривать, а он все плакал – громче, просительней, и тогда Люба без всякого стеснения выпростала из-под кофточки большую тугую грудь и дала малышу.

А Валентин смотрел на это странными глазами, ему показалось диким: прямо на виду у всех... Но почти тотчас он забыл об этих ощущениях, он только проникался мыслью, до чего прекрасна, почти божественна сейчас его Люба с этим тщедушным, страшненьким на вид существом, а Валентин, как ни странно, что-то потерял в ней для себя: приобретая детей, чуть-чуть теряешь любимую. Иногда теряешь очень многое в ней. А иногда – даже ее любовь.

Дома, когда уложили Сережика на стол, развернули, он показался таким уродливо-неуклюжим, морщинистым, с воспаленно-красной кожей, что Люба в испуге вскрикнула (она видела его распелёнутым впервые), схватила мать за руку: «Ой, какой он страшненький! Кого же я родила, Господи?!» – и прикрыла рот ладошкой.

А мать, будто не слыша, быстро поменяла пеленки, подложила под Сережика подгузник.

– Он у нас красавец. Вон у него какие ножки сильные! Какие ручки цепкие! Какой ротик упрямый! Как он у нас лобик морщит умно! – Без конца приговаривая все это, мать ловко, быстро, уверенными движениями перепеленала Сережу, так что со стороны даже казалось, не слишком ли туго она перехватывает ему руки и ноги, как бы не сломала чего-нибудь, на что мать только смеялась:

– Нет, они любят, когда их туго пеленают. Он у нас теперь согреется, поест мамочкиного молока и заснет спокойненько, и ничто его тревожить не будет, ни ручки, ни ножки... они у нас еще глупые, еще не понимают, как они нам могут мешать...

Люба немного подкормила Сережика, и, когда голова его сама собой отпала от груди, ей показалось – сын улыбается, и она воскликнула:

– Ой, мама, он, кажется, улыбается! Смотри!..

– А ты как думала, – с горделивыми нотками в голосе проговорила мать, – они еще как улыбаться умеют! Ты думаешь, он глупый, что ли?

Люба спросила:

– Господи, на кого же он все-таки похож? Неужели на меня? Такой страшненький!.. – И не выдержала, счастливо рассмеялась.

– Мужик – сила! – сказал Саша. – Ты что это – страшный? Парень что надо.

– А ты заметила, – сказала мать, – какие у него глаза? Голубые.

– Правда, голубые? – удивилась Вероника.

– И волосики уже есть. Вьются. У затылка.

– Да ты что, мама? – не поверила Вероника.

– Я тебе говорю! Он будет беленький, кудрявый, с голубыми глазами. Весь в моего отца! Отец у меня такой был: давно дед, а какой красавец, какая осанка, любой молодой позавидует!..

А потом началось застолье, вспоминали, какой хилой, почти безжизненной на вид была Наташка, когда тринадцать лет назад ее принесли из роддома, и руки и ноги висели плетью, голова совсем не держалась, и самое плохое – она почти ничего не ела, не брала грудь, и какое-

то время все они, как и врачи, были уверены, что Наташка не жалец на белом свете. Вероника плакала, молоко у нее перегорало, соски трескались, мучений было – не приведи Господи...

Люба с Валентином сидели рядом, настоящие именинники, красивые, молодые, счастливые, и Люба замечала за собой, как среди всего этого веселья и гомона что-то в ней настоятельно прислушивается к тому, что делается в другой комнате, не хнычет ли, не плачет ли Сережка, и, чувствуя себя беззаботной сейчас, она в то же время была полна внутренней тревоги за сына, – Боже, она была настоящая мать, даже не верилось!

Валентин видел Любу через полчаса после родов; он забрался по лестнице на какую-то небольшую пристройку, крыша которой была на уровне второго этажа роддома. Мест в палатах не хватало, и Любу на некоторое время оставили прямо на тележке в коридоре; рядом с ней стояла сестра и не давала Любе заснуть, хотя больше всего на свете ей хотелось нырнуть в небытие сна, исчезнуть из мира боли и невероятных трудов в сладость покоя и безразличия. А ей не давали, и как же она, конечно, ненавидела сестру, хотя ненависть ее была напрасна. Валентин смотрел на Любу, делал сестре знаки, но ни сестра, ни Люба не замечали его, Валентин что-то кричал, бегал по крыше, гремел кровлей, стараясь привлечь их внимание, и наконец Люба – видимо, просто случайно – чуть-чуть повернула голову, и в далеких опустошенных ее глазах почти ничего не отразилось, она смотрела на него, видела, что это Валентин, ее муж, видела и ничего не испытывала, ни радости, ни облегчения, ничего, таким ненужным, не имеющим никакого отношения к тому, что она совсем недавно пережила, показался самый близкий и родной на свете человек. Люба словно была выше всего и всех, и ей почти неприятно было видеть его ликующие жесты, дурацкие воздушные поцелуи, все эти движения и восторги человека, пока еще ничего не знающего на свете, не знающего главного: каково оно, жестокое, мучительное таинство – рожать человека. Слишком поверхностны были его ощущения. Она попробовала что-нибудь сказать, прошептать хотя бы, но губы не стронулись с места, и воздух из легких тоже не шел в гортань, как будто и не было легких и она вообще не дышала, а так просто, пространственно и бездыханно существовала; попробовала улыбнуться (пересилив себя) – тоже ничего не вышло; он только понял, что она видит его, но на лице у нее пустота, губы искромсаны, синие, искусаны от боли, и этот ее пустой взгляд из-за спины медсестры, это ее безразличие, опустошение больше всего поразили Валентина, потрясли его: в сердце его, как открытие, вошла пронзительная и пронзающая боль, – Господи, до чего же это все разное, у нас и у них, до чего же мы не любим их, не жалеем, не жертвуем ради них, не понимаем, не прощаем, мучаем!

Когда он спустился вниз, мать была поражена, увидев его не веселым и счастливым, а подавленным, и встревожилась:

– Что? Плохо? Ты видел ее? Что с ней?

– Видел, – кивнул головой Валентин. – Она? Ничего. Она лежит. А потом ее увезли.

– Куда увезли?

– В палату, наверное.

– Да что с тобой? Что там? Расскажешь ты наконец...

Он перевел дыхание, вздохнул, как бы от тяжести пережитого, и сказал внятно:

– Да нет, все хорошо. Это просто так, действует. Лежит слабая, молчит. Глаза такие – смотреть невозможно.

– А-а... – успокоилась мать. – А ты как думал? Родишь – плясать будешь, смеяться? Тут весь мир не мил...

– Это ужасно, да? – спросил он прямо.

– Это? – задумалась мать. – Мы потом все забываем. Невозможно жить и помнить об этом. К счастью, мы забываем.

– Но что же это?

– Оставь ты глупости! Это просто больно. Разве это так важно теперь? Все позади – и слава Богу! Это просто очень больно. Так у всех. Главное – ты теперь отец. У тебя родился сын. Мой внук! – И, обняв Валентина, она поцеловала его, ткнулась ему в шею и расплакалась...

И теперь, когда мать вспоминала об этом, тихо, одиноко лежа в постели без сна, с тупой ноющей болью в сердце, в мире безумных, то радостных, то горьких воспоминаний, она снова заплакала, как плакала тогда, как бы переживая заново то, прежнее свое состояние, к которому теперь прибавилось что-то такое невыносимое, ужасное, что даже плакать было больно, больно глазницам, и сами слезы были больные, жгучие, разъедающие лицо...

Они сидели за столом, радовались, пили шампанское за здоровье новорожденного. И как они были близки друг другу! Как чувствовали себя одной семьей, как все их мысли и чувства были искренни, понятны, чисты!

Даже Люба – и та выпила немного шампанского, мать сказала, это ничего, это можно, немного разрешается. Сережка только спать крепче будет, и, только она это сказала, послышался тоненький, жалобный плач малыша, Люба, как будто она не из роддома пришла, а из дома отдыха вернулась, резво снялась со стула и – в другую комнату.

Пока Люба кормила сына грудью, как-то сиротливей стало в комнате, грустней, и Вероника сказала:

– А помните, какая она в роддом ушла? Во была! – И показала руками.

И правда, как быстро все забылось: Люба в самом деле была такая толстенная, ее разнесло во все стороны, и не только от беременности, но и от водянки – оказалось, плохо у нее почки и печень работают.

И тут вспомнили, как врачи решили ее подлечить, положили в больницу на сохранение, и как она пролежала там не больше недели и вдруг отчудила: выбросила Валентину в окно план бегства. Там был чертеж внутренних лестниц, нарисован черный ход, назначен день и час, когда Валентин должен был стоять у черного хода с одеждой наготове.

– Ты что, того? – показал ей Валентин снизу.

В ответ написала записку: не принесешь – сбегу так. Он знал ее, они все знали: если что задумала – что хочешь делай, Любу не переупрямишь. Была такая и дикая, и славная черта характера – безумство. А почему, собственно, ей не лежалось? Не могла без дела. Не могла жить, чтобы что-то не делать, не мыть, не готовить, короче – она всегда должна быть в действии. С ней могло и такое случиться – в окно выпрыгнет, с какого хочешь этажа, – от бездействия. Ну что было делать?

Сейчас вспоминали об этом и смеялись. Сейчас было легко. Сейчас – все понятно. А тогда?

Как раз вернулась Люба, они встретили ее веселым взрывом смеха.

– Чего вы? – улыбнулась она. – Разбудите...

Стали спрашивать: сбежала бы тогда? Ну, если честно?

– Сбежала бы! Конечно! – Она села на стул и задумалась, вспоминая.

– Да ты что, сумасшедшая?! – смеялась Вероника. – Для чего?

– Я б все равно одежду не принес, – вставил Валентин.

– Не прине-е-ес?.. – удивленно, почти обиженно, почти разочарованно протянула Люба, поворачиваясь к Валентину.

– Чтоб глупостей наделала? – Он беззащитно улыбался.

Люба вдруг махнула рукой:

– Да что вы вспомнили! Ну его. Я от водянки этой с ума сходила. Правда, хоть в окно прыгай – так маялась... Слава Богу, схватки начались. Рожать пришлось, а дурь сама отпала...

И вот сейчас, вспоминая тот день, вспоминая радость его и суматоху, счастье и веселье его, и его легкость, мать, лежа в постели, как бы с удивлением поняла все то, чего не могла

принять в характере Любы, с чем боролась, но боролась зря: Люба и тогда, и раньше оставалась сама собою, изменить ее было невозможно, и, если б можно было не только понять, но и смириться с этим, – сколько, может, не было бы совершенно зла, сколько горестей, обид и непониманий ушли бы из жизни сами по себе...

За стеной, в который раз за ночь, начинала плакать Люба, было слышно, как Саша успокаивал ее. Просыпалась на своей раскладушке и Вероника, спрашивала тихонько у матери:

– Может, мне сходить туда?

Мать долго не отвечала, прислушивалась к голосам в Любиной комнате.

– Не знаю... – И обе они чувствовали себя беспомощными, только Вероника, в отличие от матери, проваливалась в конце концов в тяжкий сон, а мать все лежала, не спала, думала...

Валентин сидел на седьмом этаже гостиницы в кафе, завтракал, когда заглянула дежурная по этажу. Они встретились глазами, и Валентин с удивлением понял, что дежурная пришла именно по его душу, хотя мало ли кто здесь сидел. «Чего это она?» – невольно, но расслабленно, заторможенно подумал он.

Она осторожно подошла к нему и, слегка наклонившись, тихо сказала:

– Вам телеграмма.

– Мне? Откуда? – удивился Валентин.

С Любой у них не было принято обмениваться ни письмами, ни телеграммами, когда он бывал в командировках.

– Из Москвы, – сказала дежурная. – Пойдемте. Она там...

Станным показались Валентину и слова ее, и голос, он поднялся из-за стола и пошел следом за дежурной.

...Взял телеграмму:

«Срочно вылетай разбился Сережа Вероника».

Он и тогда, и чуть позже, и даже много позже, когда уже летел в Москву, так и не мог до конца понять этой телеграммы. Она ударила по нему, как молния ударяет по дереву в страшную грозу, – ослепила, оглушила, расщепила все внутри. Ударила, но он устоял. Он почувствовал – тут жуткая катастрофа, но только не смерть. Нет. Потому что – «разбился». Что значит – «разбился»? И как мог Сережа «разбиться»? Упал, покалечился, что еще? Ведь тут не написано – умер? Не написано – разбился насмерть? Какое-то дикое, непонятное слово – «разбился». Какой в нем смысл?

Нет, только не смерть. Только не это. Это же ясно из телеграммы. Иначе бы там написали. Объяснили. Точно сказали.

Вот такие мысли были у него. Он был оглушен и раздавлен. Он чувствовал, как уже поднимается в нем тяжелая волна ненависти к Любе, к Веронике, к теще: не уберегли... Но он еще не все до конца понимал. Не хотел понимать. Он еще надеялся.

Утром они поехали в морг. Люба, мать и Вероника. Саше нужно было обязательно на работу. Люба сказала ему: «Я не хочу с ними». И тупо смотрела на него – не видя, не сознавая. Он объяснил: «Одна ты все равно не сможешь. Ты что?! Одной нельзя. Не сможешь». Она кивнула, хотя вряд ли понимала что-то.

Смотреть на нее было невозможно.

За ночь как будто схлынула та опухлость, которая навалилась на Любу вместе с беременностью. Буквально за несколько часов она превратилась в осунувшуюся, изможденную, поху-

девшую, почти уродливую на вид девчонку, у которой выделялся (как не выделялся раньше) огромный живот.

Глазницы черные, нос заострился, волосы прибраны небрежно, наспех, лишь бы как, в глазах – то тоска, то безумный блеск, то вдруг так посмотрит на мать с Вероникой, что сразу мурашки по коже. А собственно, в чем они виноваты? Никто ни в чем не виноват.

Саша привез их на такси в морг, хотел высадить и поехать дальше, на работу, но не смог, не смог справиться с собой – бросить их и уехать. Это было выше его сил, или же нужно было совсем не смотреть на Любу. Но это тоже было невозможно.

В морге Любе стало плохо перед небольшим окошечком, через которое молодая, борющаяся со своей природной жизнерадостностью девчонка стала спрашивать у них фамилию мальчика, возраст и прочее, ноги у Любы обмякли, подкосились, еле успели подхватить ее, усадить на стул. К лицу прилила густая синь, и дышала Люба слабо, еле слышно; девчонка выскочила из-за дверей, сунула Любе под нос нашатырного спирта, Люба приоткрыла глаза, прошептала:

- Сереженька... – и сидела перед ними потусторонняя, не живая.
- Зачем беременную-то привезли! – почти крикнула девчонка.
- Она мать, – тихо, но с отчетливой неприязнью ответил Саша.

Сережа лежал как при жизни – с чистым лицом, с трогательно поджатой нижней губой, глаза закрыты легко, будто это не смерть, а сон с ним случился. Накрыт он был простыней.

Обмывала сына Люба сама. Закрылась в ванной, они слышали только прерывистое журчание падающей струи. А чтобы она там плакала, этого они не слышали. И мать с Вероникой поглядывали друг на друга с недоуменным ужасом.

Когда Сереже было всего полторы недели, Люба, мать и Валентин – втроем – впервые купали его в ванночке. Эта ванночка, розово-выцветшая, местами белесая, осталась еще от Наташки, и вот лежала, ждала тринадцать лет, чтобы теперь в ней барахтался двоюродный Наташкин братец. Мать с Валентином пробовали приделать к ней широкие марлевые полосы, нечто вроде гамака, чтобы Сережка мог лежать в нем, и тогда, лишь придержи его руки и ноги, можно было бы купать его на весу.

Но эти полосы, этот чудный на вид гамак никак не устраивал Сережу, он колотил руками и ногами, и гамак все время съезжал то вниз, то в стороны, и пришлось мириться, купали его просто так, на руках. Мать держала его на своей широкой, сильной, почти мужской руке, другой лишь придерживая Сережу за голову, Валентин поливал водой из чайника, а Люба мыла малыша. Тесно было, непривычно, мучились, мешали друг другу и очень все переживали, как бы чего не натворить с Сережей. А он, такой маленький, размером с куклу, как-то сразу разобравшись, что вода – приятная штука, замер весь, сжался и даже не плакал, а терпеливо позволял держать себя то на спине, то на животе. Позже они купали его вдвоем, а еще позже, после месяца, когда можно было пользоваться водой из-под крана, мать или Люба могли справляться с ним в одиночку, и им было странно, почти не верилось, что совсем недавно такое казалось невозможным делом (мать отвыкла, подзабыла, а Люба просто не умела). В первый раз, когда Сережа раскраснелся, распарился, а потом, тепло укутанный, жадно сосал грудь, а еще позже сладко спал в кроватке, он показался им тотчас повзрослевшим, выросшим, это было чем-то новым в его существовании – купание, и, как всякая веха в жизни, событие это казалось им значительным, чуть ли не революцией. А вскоре стало обыденным делом.

Ссорились они тогда? Да упаси Боже! Всей семьей жили до удивления слаженно, в одном ритме, понимая друг друга без слов.

Когда Люба вынесла Сережу из ванной, они заметили что-то поразительно изменившееся в ее лице, в выражении глаз: она не то что не замечала ничего вокруг, не обращая внимания ни на мать, ни на Веронику, она как бы ушла в себя, спряталась в собственной глубине, и не горечь

и отчаяние были в ее глазах, а жесткая сосредоточенность, тяжелое раздумье. С того времени Люба и плакать стала гораздо меньше, кроме особо трудных минут, которые еще будут впереди.

Наряжали Сережу все вместе, втроем. Люба была угрожающе сосредоточена в себе, но не прогоняла их, ничего не говорила.

Они положили его на стол в большой – материной – комнате, тут была своя жестокая ирония судьбы: при жизни мать никак не соглашалась, вернее, не предлагала, чтобы дочь, зять и внук заняли ее комнату, а она бы перешла в маленькую. Мать, как крепость, оберегала свое жилище, ей не хватало воздуха, особенно когда всерьез прихватывало сердце, и она не то что избегала этого разговора, наоборот, не раз говорила: какая у вас, ребята, славная, уютная, теплая комната, как вам хорошо в ней живется, Господи, и какая же она, мать, молодец, что когда-то сумела всеми правдами и неправдами обменять однокомнатную квартиру на двухкомнатную, и теперь у вас, дети, есть своя отдельная комната, если б мне такое счастье в молодые годы... И таким образом, конечно, ни Люба, ни Валентин не предлагали поменяться комнатами, им внушалась мысль, что они в определенном смысле нахлебники, и они невольно должны были принимать эту мысль. Мать продолжала жить в четырнадцати метрах, а они – втроем – в девяти, и до поры до времени никто, в общем, не придавал этому значения (так было – и все), а когда начались ссоры, а потом завязалась вражда, все это всплыло на поверхность, и много было сказано взаимных жестоких слов. Да только для чего? Все оставалось по-прежнему: права была мать, правы были дети.

И вот теперь, когда Сережа лежал на столе в материной комнате, какими жалкими, глупыми представлялись прежние семейные раздоры, какими ничтожными виделись причины разобщенности перед лицом случившегося.

Люба стояла рядом с Сережей, не шевелясь, впившись взглядом в его спокойное, полное умиротворения лицо, стояла и не плакала, а будто старалась проникнуть в загадку смерти. Вероника молчала просто от страха, от испуга, ей вообще не хотелось, чтобы на нее обращали внимание, она ловила себя на ощущении, что боится Любы, боится какой-нибудь ее неожиданной выходки; заплачешь, запричитаешь, а Люба может такое сказать, вроде: «Заткнись, не прикидывайся!» – или: «Пожалела! Лживого жалела?!» – или еще что-нибудь в том же духе. Уж лучше не гневить Бога, помолчать... Мать плакала, сидя на стуле; горестно раскачивала головой и плакала, вытирая кончиком накинутаго на голову черного платка слезы. И больше пока никого не было. Народ начнет приходить чуть позже...

Вероника была старше Любы на тринадцать лет. По сути дела, ей пришлось быть первой и главной нянькой младшей сестры. У них были разные отцы. Вероника родилась еще до войны и родного отца совсем не помнила, а новый материн муж, которого Веронике нужно было называть «папа», отцом ей так и не стал, тем более что вскоре после рождения Любы он от матери ушел. Время было – только-только война закончилась. Есть нечего. Мать работала на заводе. По многу часов. Так что Веронике поневоле приходилось оставаться в доме за хозяйку, и вся возня с Любой упала на ее плечи. Часто теперь, когда мать особенно упирала на то, как ей тяжело было воспитывать двух детей, одной, без мужа, Вероника с горечью и даже обозлённо думала: а как же я? ты забыла, не ты, а я поднимала Любу на ноги? это мне приходилось и стирать на нее, и кормить, и гулять, и наказывать, да что там – все делала, пока она хоть немного не подросла! А когда она подросла, на Веронику уж начали ухажеры поглядывать, ей семнадцать, к примеру, а Любке – четыре, вот когда было особенное-то мучение. Парень придет, на танцы зовет или в парк, а Любка разве понимает что? Уцепится за подол – и в рев: я тоже хочу, возьми меня с собой! Может, Вероника и поцеловалась-то так поздно в первый раз – в двадцать один год, – что был у нее этот груз на плечах, драгоценная младшая сестренка. Первый поцелуй – в двадцать один год! Ну где это слыхано? Конечно, Вероника любила ее, ну как старшей сестре не любить младшую, само собой; но и горя ей пришлось хлебнуть с ней – тоже верно.

Любка такая уж уродилась – нервная, взбалмошная, озорная, непослушная, упрямая, – не жизнь с ней была, а борьба. Но с другой стороны – она росла смелая, добрая, с невероятной фантазией, – какое-то соединение несоединимых качеств, и вот такое чадо нужно было поднимать на ноги, направлять, воспитывать, – сколько на это ушло у Вероники собственного детства и юности, а кто это оценит, поймет теперь?

Помнится, однажды младшая сестра без обычных своих капризов отпустила старшую на свидание, а вечером следующего дня прибежала домой в разорванном платье и в разорванных чулках – дралась с парнями. Люба ничего так не боялась, как гнева матери, когда, прежде чем выпороть, мать говорила повелительным тоном: «Люба, сядь со мной рядом на диван, выкладывай, деточка...» – а потом эта деточка получала заслуженную порку. Но вот это предварительное сидение на диване было самой страшной пыткой для Любы: рассказывать она ничего не рассказывала, только дулась, мялась, а мать тем временем накалялась и, накалившись, говорила сдержанно-злым голосом:

– Ну-ка, снимай штаны... – И начинала учить жизни.

Вот это последнее было для Любки бесполезным: боли она не боялась. Никакой. Она вообще была неуправляемой всю жизнь и никогда ничего не боялась. Только одного – вкрадчивого голоса матери с многообещающими нотками.

А тогда Вероника первая увидела беду Любы. Сжалилась над ней (она же выручила вчера, отпустила на свидание). Спрятались обе от матери, и Вероника давай сама штопать чулки и платье. Тут-то мать и застукала их. Всыпала на этот раз не только Любке, но и Веронике. А ей ведь шел тогда семнадцатый... И мать не посмотрела, лупила ее ремнем, не обращая внимания на внутренний голос: может, зря я, вон уж заневестились она, а я...

Позже Люба с Вероникой любили вспоминать об этом. Вспоминая, они как бы начинали больше любить друг друга.

А мать как раз не любила об этом вспоминать. Часто говорила, что вообще этого не было и все они выдумали.

Вероника росла серьезной, послушной, умной, училась только на «пятерки», много сидела за учебниками – и была способна на мелкую месть, озлобленность против глупой младшей сестры. Люба росла поверхностной, легкой, бесшабашной – а была как-то открытой, добрей, быстрее прощала, проще мирилась. Но уж зато если ударит ей в голову – тут держись: в одну секунду может таких глупостей наделать, куда там Вероникиной мелкой мести! Люба однажды, рассвирепев, бросилась на старшую сестру с ножом. Это в восемь лет! Правда, через секунду уже смеялась, не понимая, что наделала. Как все это совмещалось? Мать объясняла просто: у Вероники отец был серьезный – вот дочь умная да серьезная, а у Любы отец – ветер в голове, как говорится, не мужик, а «пришей-кобыле-хвост», отсюда и результат: дочь растет неуправляемой, нервной, вздорной, Бог знает что и выйдет из нее...

Но, конечно, что бы ни было, как бы в дальнейшем ни расходились их судьбы, они всегда оставались все-таки самыми близкими людьми – родными сестрами, и только вот последний случай, буквально пустяк, конечно, если разобраться в нем всерьез, завел их слишком далеко, теперь это особенно понятно, а не исправить... погиб Сережа, вот что страшно. Вот что теперь встало между ними, а совсем не глупая та ссора.

Привезли гроб, и только они уложили Сережу – приехал Валентин. Дверь ему открыла Вероника.

«Что? – жестко, требовательно стояло в его глазах. – Что случилось?» Внизу, в подъезде, его только что остановили и спросили: «Как же это случилось?» Он не стал отвечать, быстро проскочил мимо. И теперь смотрел на Веронику. Она молчала.

Он отстранил ее и прошел прямо в большую комнату. В маленьком гробике, в далеком, поплывшем перед глазами углу лежал Сережа. «Серенький», как его ласково называл Валентин. «Не может быть...» Он сделал несколько шагов вперед... Он летел сюда, спешил в Москву, мчался по городу на такси, но надеялся... Ведь там написано: «Разбился». А что это? Он не хотел думать о самом страшном. Как он мог думать о таком? И вот теперь он видит. «Не может быть...» Он шел, не чуя ног, хотя они враз отяжелели, налились свинцовостью... Он еще никогда так остро не ощущал себя отцом, никогда так остро не понимал, что Сережка – это его дитя, плоть от плоти, это он сам, только уменьшенный, маленький. Сын.

В комнате был народ. Приехала крестная – тетя Нина, Любина двоюродная сестра Зоя с двумя дочками-близнецами, Саша, соседи по лестничной площадке, товарищ Валентина по университету Константин, еще кто-то, кого Валентин не знал или помнил смутно; в самом углу, по обе стороны гроба, сидели Люба и мать.

Валентин почувствовал, кто-то взял его под руку. Покосился: Вероника. «Только возьми себя в руки...» – тихий шепот. Он смотрел на нее, не понимая. Она думала: мало ли что он может сейчас натворить... А он был раздавлен. Он шел туда, к гробу, как будто его тащили силой, а он сопротивлялся, – ноги не слушались, совсем затяжелели. Он только сегодня, сейчас, вот в эти минуты понял, что он совсем не мужчина, как принято об этом думать, а слабый беззащитный бесхарактерный человек, невыросший мальчик. В нем должно было что-то случиться, а он стал просто как невменяемый: он прошел к Любе (с трудом узнавая ее), сел рядом с ней, она сначала не поняла, кто это, не повернулась даже, а потом, видно, все-таки почувствовала и, когда взглянула на него, с тихим стоном упала ему на грудь. Он не обнял ее, а просто как бы терпел жену, он хотел понять, уяснить и не мог, она думала, он уже все знает, лежала на его груди, и он чувствовал, как мокнет у него рубашка. Он терпел жену, а сам жадно смотрел на лицо Серенького, узнавал и не узнавал его, таким он Серенького никогда не помнил, не представлял, – кто это, маленький мальчик или мудрый старик с таким проникновенным, спокойным и удовлетворенным лицом? Валентин не знал, не замечал, а оказывается, он тоже плакал; случайно встретился вдруг с глазами тещи, и та не выдержала, отвела взгляд, – она тоже сидела ни жива ни мертва.

Вдруг он грубо отстранил Любу, поднялся и, наталкиваясь на удивленные взгляды окружающих, вышел из комнаты. На кухне сел на стул, сдавил виски руками. Кто-то встал рядом с ним. Валентин покосился: Саша. Вот кому он вдруг оказался рад.

– Он что, упал? – спросил Валентин.

Саша кивнул:

– Выпал из коляски на балконе. Ударился виском о кирпич.

(Этот кирпич, лежавший на балконе, они использовали как груз при засолке огурцов.)

– Так я и знал... – Валентин поднялся и выглянул на балкон. Там по-прежнему стояла коляска, кругом валялись цветы. Валентин вышел на балкон. (Сколько раз ругался Валентин с Любой и матерью, что они оставляют Серенького одного в коляске, без присмотра, а вдруг проснется, встанет, потянется к балконным цветам и выпадет из коляски?!) И неожиданно почувствовал нестерпимое желание, почти жжение внутри: прыгнуть вниз. К черту все! Но даже если б и решился – ноги подвели бы его, и так они были тяжелые, а тут, как ощутил, что это вот здесь, вот тут все происходило, – совсем перестали слушаться, будто их приварили к полу. Постоял здесь. Посмотрел. Подумал. А думать нечего – одна пустота в душе.

– Ладно, хватит тебе там, – сказал Саша почти грубо: не понравилось ему лицо Валентина... – Иди, иди, – тем же тоном, грубым, приказывающим, добавил он и, когда Валентин вошел, плотно прикрыл за ним дверь.

– Как же эти дуры... – пробормотал Валентин. – Куда смотрели?..

– Теперь поздно... Понадеялись друг на друга – не углядели. Выпьешь?

– Не хочу.

– А я выпью. – Саша достал из холодильника распечатанную бутылку водки, налил себе в стакан. Выпил.

Сидели молча. Валентин морщился, мял лицо руками, тер виски.

– Слушай, ну как же так?! – спросил он; в глазах его загустела такая тоска, что Саша не выдержал, отвернулся.

– Недосмотрели, – только и ответил. – Теперь что? Теперь поздно. Как же мне напиться хочется!

– Пойду я, – сказал Валентин.

Когда он появился в комнате, разразились рыдания – это не выдержала Любина крестная, бросилась навстречу Валентину:

– Валя! Валечка! Да как же мы теперь жить будем? Что делать без Сереженьки?..

...Ночью, сам не зная почему, когда Люба молила о прощении, безумная, родная, он ударил ее, очень сильно, и сам чуть не заплакал. А она будто ждала, что он еще будет бить ее, смотрела на него умоляющими, горестно горящими глазами, но он больше не слушал ее, не смотрел.

Встал и ушел к сыну. Вскоре Люба не выдержала, пришла.

Сидели вдвоем, ночью, у гроба. Плакали.

Мать с Вероникой спали на кухне. Остальные уехали.

Познакомил их Константин. Как-то звонит Валентину (еще учились тогда в университете, заканчивали последний курс): приезжай в общежитие, дело есть; Валентин отбивался. Константин обиделся: «Не приедешь – ты мне не друг». – «Ты что, спятил?» – «Ну, выручи. Девушки приедут вдвоем, одна мне нравится. Куда вторую девать?» – «Выгони». Но сам подумал: ведь точно обидится. И поехал.

Потом было как всегда, как у всех. Пили водку, острили; чем дальше, тем больше жгло желание понравиться друг другу.

Константин со своей девушкой, Олей, в конце концов ушли, исчезли («У меня есть ключ от другой комнаты. Как она мне нравится, старик, ужасно нравится!»), и Валентин с Любой остались вдвоем. Но Люба не подпускала к себе.

Валентин думал: ладно, пусть она такая, пусть колючая, но... И вот на первый раз она влепила ему пощечину.

Он подумал: ясно, это просто шизофреничка, а при чем здесь я? Я человек, и мне обидно, и черт с ней, пусть пропадает вместе со своей гордостью и недоступностью.

– Я пошел, – сказал он, продолжая сидеть.

– Иди, – сказала она. – Иди, я хоть посплю спокойно.

«Посплю, – отметил он. – Значит, все-таки хочет лечь. Интересно».

– Можно один вопрос? – спросил он.

– Ты же уходишь, – сказала она.

– Насколько мы сейчас играем? – спросил он.

– Ты – играешь. Ты хочешь своего и ради этого построил всю игру. А я ничего не хочу.

«Нет, тут бесполезно», – подумал он, а вслух сказал:

– Бывает... Ну, что ж, я пошел.

Он встал, забрал магнитофон и вышел из комнаты. Так сказать, современное прощание – без особых слов и эмоций.

Был уже поздний вечер, дежурная в общежитии долго ворчала: всё шлятся, шлятся, не угодятся... Но дверь открыла, выпустила, и Валентин оказался один на улице, темным вечером, который больше напоминал осень, чем весну, – сырость, холод и тоска. Место было глухое, такси вымерли, а единственный болван, который все-таки вынырнул из-за угла, смерил Валентина оценивающим взглядом:

– Сколько даешь?

Настроение у Валентина было не такое, чтобы делиться с таксистом своими скромными гонорами, он сказал:

– По счетчику. Наглеешь, парень, а?

– Привет! – бросил таксист, и жалкая его дребезжащая «копейка», фыркнув газом, дала ходу.

Он вернулся в общежитие и на этот раз гораздо дольше сражался с тетей Клавой, вахтершей. Может, она его за шпиона принимала, но никак не хотела верить, что сама недавно выпустила его на улицу, не помнила: такого, как ты, я бы запомнила, говорила она многообещающе...

Милая тетя Клава, спасибо тебе, все-таки снизошла,пустила его тогда! Люба спала и, конечно, не хотела верить ни одному его слову. Она сказала из-за двери:

– Первое, что я сделаю, если будешь лезть, – разобью твои очки. Согласен?

– О, спасибо! Хотя одна женщина вылечит меня от близорукости. Но где ты, доктор?

Она открыла, и он вошел, чувствуя себя пристыженным.

– А вы лучше, чем я о вас подумала, – сказала она.

– У меня было тяжелое детство, – сказал он с притворной печалью. – Меня воспитывала собака, если честно. Мама меня потеряла в лесу, и бездомная собака воспитала меня. Результат неудивителен. Я похож на волчонка.

– На волка.

Люба навела порядок на столе, нарезала хлеба, ветчины, сыра. Сели. Посмотрели друг на друга, рассмеялись.

– Господи, – сказала она, – еще влюбишься в такого дурака. Сколько тебе лет?

– Двадцать три.

– А мне двадцать шесть. Три года разницы. К тому же я была замужем... – Вдруг спросила: – Что будешь пить?

– А ты?

– Водку. – Она налила понемногу в стаканы. – Так за что?

– За любовь, – сказал он.

– А она есть?

– Она прячется. Но мы ее найдем!

– Но я в этом не участвую.

Они выпили, посмотрели друг на друга и опять отчего-то весело, непринужденно рассмеялись.

Эта ночь длилась и длилась, рано утром пришел Константин, очень удивился, что они сидят за столом, разговаривают, играет музыка, а они, судя по всему, так и не ложились спать.

– Ну что, – спросил Константин, когда Люба ушла, – ничего не вышло?

– Слушай, – сказал Валентин задумчиво, – я могу влюбиться? Я похож на человека, который может влюбиться?

– Пройдет, – сказал Костя. – Просто не вышло – и тебя заело.

– Если я сейчас пойду и сбрею усы, вот прямо сейчас ножницами их откромсаю, – пове-ришь?

– Ну-ка!

Валентин взял ножницы – и откромсал.

– По ночам, – сказал Константин, – врачи рекомендуют спать. Иначе ум за разум заходит.

Валентин смотрел в зеркало, вид у него был жалкий и забавный, но он серьезным тоном сказал:

– Отныне начинается новая жизнь.

Свадьба у них будет только через год, и за это время много разного – и хорошего, и плохого – произойдет в жизни, одно оказалось верным: их настигла любовь. Они будут похожи на сумасшедших, как многие влюбленные. Лишь одно будет отличать Любу от всех других любящих: она не будет мечтать выйти замуж за Валентина. Брак – конец любви, так она считала. Валентин этого не понимал. Милый мой, говорила она, на то я и старше тебя на целых три года и замужем побывала, чтобы знать эти прелести лучше тебя. Поверь мне, брак – это конец любви.

Как-то Константин сказал Валентину, что так говорят только шлюхи. Он ошибался. Просто у него была когда-то жена, она его обманула, и теперь он не верил ни в какую любовь – ни в браке, ни без брака.

Утром Валентин сам пошел смотреть, в каком месте копают могилу для Сережи. Кладбище было рядом, оно хорошо просматривалось с балкона их квартиры. Место, где они жили, было довольно живописное. Слева – Птичий рынок, на котором утром и вечером, особенно по субботам и воскресеньям, всегда толпы народа; бесконечные людские ручьи стекались сюда, как к морю, с разных концов Москвы, лишь только всходило солнце. Прямо перед домом – небольшой сквер, некогда чистый и ухоженный, теперь запущенный, загаженный – любимое место пьяниц. Чуть дальше сквера, немного впереди, виднелся Калитниковский пруд, где летом, какая бы ни была погода, брызгалось пацанье или ловило на удочку бычков, а зимой народ катался кто на лыжах, кто на коньках. Катали здесь и Сережу: летом, осенью и весной – в коляске, зимой – в санках. Ну а справа от дома в березовой роще было как раз кладбище, в глубине которого высилась красивая церковь – церковь Всех Скорбящих, и много раз, гуляя с Сережей по скверику или вокруг пруда, заезжали они в ворота кладбища, любовались куполами, всматривались в молящихся старушек, вслушивались в песенную службу, доносившуюся из приоткрытых окон, наблюдали за мирными голубями, наслаждались запахом цветов, которые продавали перед воротами уже ставшие им знакомыми старушки-цветочницы. Цветочницы интересовались: как сегодня чувствует себя Сережка, как спал; знали его и две постоянные старухи-богомолницы, две калеки, сидевшие всегда на крыльце вознесшейся в небо церкви Всех Скорбящих, – иной раз они пытались угостить Сережку конфетой или пряником из своего подаяния, но какие там конфеты в его-то возрасте!.. Обычно Валентин, привозя сюда Сережку, который крепко спал на свежем воздухе, сам будто исполнялся покоя и неспешных размышлений; жизнь забита спешкой, суетой, а здесь ты поставил коляску под раскидистый тополь, а сам стоишь на прицерковной площади, на солнечном свету; солнце – весеннее ли, летнее или осеннее – одинаково нежно, даже как-то уютно согревает тебя, и ты удивляешься, что здесь, на кладбище, у этой церкви Всех Скорбящих тебе никогда не бывает тяжело, горестно, как не бывает такого и с другими, ты уже заметил это, разве если идет похоронная процессия – тут все уйди в сторону, тут тогда печаль и горе...

И даже порой ловишь себя на мысли, что и похоронная процессия не страшит, не угнетает, а наполняет тебя легкой печалью и сожалением. Когда-нибудь и ты пройдешь этот последний путь.

И потом – просто привыкаешь со временем к похоронным таинствам, замечаешь мелочи, которые, если люди в горе, мало кому под силу заметить, – замечаешь, например, насколько эта торжественная, тяжелая процессия часто бестолкова и даже суетна, люди теряются и не знают ни своего места, ни своего слова, и только само горе, сама смерть делают всю эту суетность не приметной, подавляют ее, ибо главное во всех душах – это все-таки смерть.

Сколько раз ты с легкостью принимал ее, чужую, и видел в ней только строгость и торжественность, сердце твое было далеко, а печаль светла и тиха, и вот теперь ты пожнешь сполна ее ужас, тут уже не праздное любопытство постороннего – теперь ты сам в центре горя.

Он вошел во двор и сразу свернул направо, даже не остановившись, как всегда, напротив богомолиц у церковного крыльца, не взглянул, как обычно, на лик Христа, который притягивал взор выражением всепрощенческой благодати, словно всякий раз – с горькой полуулыбкой понимания – приглашая тебя войти в церковь: «Входи сюда, всяк скорбящий, и да облегчатся тебе твои страдания...» Валентин свернул направо и, проходя мимо могил и памятников, которые он, бывая здесь, уже не раз видел и над которыми немало, но беспечно задумывался, поглядывая на лики фотографий, даты рождений и смертей, прикидывая всевозможные обстоятельства, при которых могла случиться та или иная смерть, но так, конечно, и не зная в точности ни истинных причин, ни верных обстоятельств, – теперь он проходил мимо всего этого, низко опустив голову, раздавленный и опустошенный.

Могилу копали два мужика, тоже довольно знакомые ему, во всяком случае по виду; оказалось, и они не раз примечали его здесь, один из них был Федька-инженер, такое к нему приклеилось прозвище, говорили: он инженер по образованию, сошел с круга и застрял здесь; кто, бывало, напивался с ним, слышали от него целую философию: «Всё – ложь, а здесь всё – правда. Была жена, ребенок, теперь никого. И я копаю могилы. Я зарабатываю не на хлеб. Нет. На хлеб мне наплевать. Я зарабатываю для смысла жизни и пропиваюсь дотла. Но я не пьяница. Мне просто горько. Кто пойдет против смерти? У тебя горе – и ты идешь ко мне. Понял? Тебе без меня не жизнь. Инженер – тьфу! А тут – почет и уважение. И смысл жизни всегда рядом. Потому что рядом – смерть». Федька-инженер любил философствовать в таком духе, и иногда среди этого бреда попадались неожиданные мысли, что, впрочем, понятно: разговоры про жизнь и смерть завораживают, в них невольно задевают внимание всякого рода парадоксы.

Второй могильщик был карлик, всегда угрюмый, серьезный, никогда не пьющий, не воспринимающий и не принимающий всеобщего хода жизни, как будто он жил не на этой земле, а на другой планете. Карлики народ скрытный, от них совершенно нельзя добиться, что они думают; они, как ни странно, словно презирают весь род людской, и это тоже можно понять: они видят, что те, кому даны величайшие возможности, кто красив, высок, умен (то есть обычный народ), как бы вовсе не понимают этого, а прожигают жизнь в пустяках, в безделье и пьянстве, и карлики поэтому презирают высоких (то есть обычных) своих собратьев-людей за тупость, за невежество, за безделье, за легкость жизни, за моральную опустошенность, за ничтожность помыслов.

Валентин подошел к ним, ничего не сказал, встал неподалеку. Могила была настолько непривычно мала, что снова, в который раз, до боли защемило сердце, и Валентин невольно стиснул зубы, чтобы не застонать.

– Такой малец – а уж отжил свое, – сказал Федька-инженер, методично, лопата за лопатой выбрасывая землю из могилы. – Не уберег, хозяин? – И он с искренней, хотя и пьяной жалостливостью взглянул на Валентина.

Валентин ничего не ответил.

– Не уберег... – сам себе ответил Федька-инженер, но философствовать не стал, прикусил язык, будто ожегся. Некоторые любят, когда с ними говорят об умерших, любят посыпать на раны соль, другие морщатся, а третьи совсем не выносят чужих разглагольствований.

– К обеду будет готова, – все же добавил Федька примиренно. – Будет как люлька. Первый класс.

Валентин снова ничего не сказал, просто смотрел в эту чудовищную яму и с оторопью, не понимая, слушал, как могильщик ласково называет ее «люлькой».

– Заплатишь потом или сейчас? Как, хозяин? – продолжал Федька-инженер.

Валентин вытащил двадцатипятирублевку, протянул могильщику; земля поехала из-под ног Валентина и с шумом, с посвистом стала сыпаться в могилу.

– Пятерочку бы надо добавить, – сказал Федька-инженер, оценивая взвешивая деньги на ладони. – Нас все же двое.

Валентин молча протянул еще пятерку.

– Так что не беспокойся, хозяин. Ты меня знаешь. Я тебя – тоже. Это твоя такая коляска была, желтая?

«Знает ведь...» – благодарная волна искреннего, доброго чувства захлестнула Валентина.

– Желтая... – кивнул Валентин, и голос его прозвучал хрипло, приглушенно.

– Знаем... – снова проговорил Федька-инженер, продолжая работать, как продолжал свое дело и карлик, ни словом, ни жестом, правда, не выдавая своей сопричастности разговору. – Видал много раз... То ты тут едешь, интересуешься, значит, кладбищем, а то жена твоя. С большим таким животом... Вот и замена будет ему, – кивнул он на могилу. – Ничего не делаешь. Смерть – это смерть. А жить дальше надо...

«Правда, – подумал Валентин – может, так оно и будет...»

– Выпить у вас есть? – неожиданно спросил Валентин.

– Это само собой. А как же... – Видя, что подобрел хозяин, веселей, оживленней заговорил и Федька-инженер. Он вылез из могилы, вытащил из-за куста початую бутылку водки и каким-то горделивым жестом (ну а как же: не он у кого-то, а у него попросили!) плеснул Валентину и себе водки. Валентин взглянул на карлика.

– Не, это дохлый номер, – махнул на него рукой Федька-инженер. Карлик, действительно, даже не обернулся, продолжая работу.

Валентин с Федькой сидели на земле, на валявшемся неподалеку бревнышке. Выпили молча, лишь взглянув друг на друга. Закусывать было нечем, да и непривычно, видно, было это для Федьки-инженера.

– У меня тоже был сын, – сказал Федька растроганным голосом и на молчаливо-удивленный взгляд Валентина добавил: – Не, он жив. Он-то живой. Жена ушла от меня, зараза. И его забрала.

«Сравнил...» – подумал Валентин.

– Еще по маленькой?

Валентин согласно кивнул: от водки сделалось немного легче, будто рассосался какой-то комок внутри. Потом Федька-инженер сказал:

– Вот скажи, ты, кажется, человек интеллигентный. Умный на вид. Я тебя давно приметил...

Валентин внимательно слушал.

– Скажи, только честно: в чем смысл жизни?

– В детях, – не задумываясь, ответил Валентин и резко, будто стыдясь, что сидел здесь, поднялся с бревна. Поднялся и добавил: – Ладно, я пошел. Спасибо.

Валентин вышел из ворот кладбища, и ноги его невольно зашагали не домой, нет, а к пруду. Была там одна заветная у него поляна, на взгорке, с которой хорошо просматривалась и близкая, и дальняя округа, и среди всей этой красоты особенно хорош был купол церкви Всех Скорбящих, чисто и ровно отливающий золотой бронзой даже и в тусклые, совсем не солнечные дни. Валентин сидел на этом взгорке, смотрел, куда любил всегда смотреть, – на воду, на купол церкви, на распускающуюся листву деревьев, и вдруг ему показалось, как-то странно подумалось: а правда ли все, что случилось? Может, вернется он домой, а там в коляске мирно спит-посапывает Сережка, и все хорошо, никто и знать не знает ни о каком горе, черт побери, может, это только все наваждение, страшный сон? Он понимал, что наваждение – не то, не там, а здесь, с ним сейчас, действовала, видимо, водка, сглаживала боль и пустоту, и так не хотелось верить в горе, принимать его всерьез, жить и страдать им... Он смотрел вокруг, отчетливо видел все дорожки, по которым много раз возил сына в коляске, останавливался где-нибудь около пацанов с удочками, и бесхитростное их занятие всегда волновало его, потому

что уносило в страну детства, в которой, сколько он помнил себя, главной мальчишечьей страстью была рыбалка. Он и теперь, посидев на взгорке, отправился к ватаге ребятишек, колдовавших над чем-то на берегу. А они, оказывается, мастерили плот. Он подошел к ним совсем близко, смотрел, как среди этих грязных, увлеченных делом пацанов уже есть главный, вожак, тот, за кем тянулись остальные, и Валентину невольно, с тяжелой болью подумалось, что, не случись смерти, а вырасти Сережка вот хоть до их возраста, до десяти-одиннадцати лет, он бы тоже мог так сидеть среди пацанов и, может, даже верховодил бы над ними... Но что об этом думать – теперь всё. Теперь бесполезно. Только травить себя. И Валентин, чтобы не застонать, опять стиснул зубы и пошел прочь. Он сделал два-три шага, и его вдруг нагнала Сашка, семилетняя девочка, которая тоже крутилась здесь среди ребят. У нее еще был маленький брат Димка, а жили они втроем с матерью в однокомнатной квартире, отец бросил их, уехал на Дон, завел новую семью, и когда Валентин прогуливался с Сережкой, Саша часто гуляла с Димкой, обычно оба грязные, неухоженные, мать крутилась на двух работах, чтобы свести концы с концами (от алиментов отец увиливал). И постепенно Саша с Димкой привязались к Валентину, ходили за ним и за коляской с Сережей, можно сказать, по пятам. Валентин научился разговаривать с Сашей; несерьезные, детские разговоры она не воспринимала, считала себя взрослой, была рассудительна, хитра, даже скупа, была Димку, если тот не слушался, лез в лужи, ковырял в носу, относилась к нему, как строгая мать к непутевому сыну: любила, но спуска не давала. Почему они привязались к Валентину, трудно сказать, может, он был единственный взрослый мужчина, который относился к ним хорошо и серьезно и поэтому в какой-то мере заменял им отца, его образ; во всяком случае, часто его даже принимали за отца троих детей и говорили вслед: «Такой молодой, а уже трое... молодец!» Иногда осуждали: «Дети грязней грязи, а этим отцам, конечно, хоть бы хны!» Иногда жалели: «Вот маеты-то, наверно, с тремя. Не приведи Господь!..» Саша догнала его, дернула за рукав.

– А Димка заболел, – сказала она, повесив голову.

– Что с ним?

– Воспаление легких. Я говорила: не снимай колготки. Он же вредный, не слушается, снял и в лужу залез. Теперь получил.

– Понятно.

– У вас Сережа умер? – спросила она, но как будто не спросила, а просто задумчиво произнесла, и на глазах у нее показались слезы.

Валентин не смог ничего ответить; только кивнул.

– Ну я пошла... – сказала она, но не отходила, стояла рядом.

– Иди, иди, – сказал Валентин.

– А маленьких на похороны пускают? – спросила она.

– Пускают, – кивнул он.

– До свиданья, – сказала она.

– До свиданья, моя хорошая, – проговорил он тихо-тихо. Он повернулся, пошел дальше, но так вдруг перехватило дыхание – невозможно шагу ступить. Остановился. Как же жить дальше, как жить?!

Хоронить решили сегодня – был третий день после смерти. Стояли теплые дни, откладывать на завтра не рискнули. Но как же – сегодня? Сегодня – последний день? Сегодня – всё?

... Плач из их квартиры слышался далеко от дома. Впрочем, все в округе знали о горе этой семьи. Многие побывали в квартире, поглядели на Сережу...

Первый шаг он сделал в десять месяцев. Как раз вышли гулять, Валентин взял с собой фотоаппарат, а как иначе – сегодня день рождения Сережи, каждый месяц отмечали этот день, то торт, то шампанское, то просто семейный чай, но отмечали обязательно. Когда вышли из

дома, видели, как мать наблюдала за ними с балкона. Наблюдала, прячась, не желая показывать, что они ее интересуют. Ссора была в самом разгаре, давно уже не разговаривали друг с другом. Даже не здоровались. Она, конечно, ждала, что они хоть о чем-то попросят ее, но они ни о чем не просили, вообще не обращали на нее внимания, как будто матери не существовало, и ей приходилось собирать в кулак всю свою выдержку, чтобы делать вид, что ее тоже никто и ничто не интересует. Жестокость и неприязнь были взаимные, а жить приходилось под одной крышей, в одной квартире – в материнской квартире. Это-то и возмущало ее больше всего: ишь, гордые какие, а в квартире моей живут, своего ничего нет, а гонора – выше неба, ни стыда, ни совести...

Сережка был в красном комбинезоне, Валентин взял сына из коляски на руки и поставил на асфальт (асфальт местами был уже сухой – весна наступала бурно), придерживая за ручонку. Сережка смешно таращил глаза и больше всего боялся, как бы отец не отпустил руку.

– Стой, – строго сказал Валентин.

Сережа задрал голову, просительно взглянул на Любу и притворно захныкал.

– Стой! – еще строже приказал отец, и тут Сережа испугался его голоса, перестал скулить и настороженно-выжидательно уставился на отца.

Валентин попятился назад, метрах в трех-четырех присел на корточки, раскрыл футляр фотоаппарата. Люба стояла чуть в стороне, рядом с коляской, улыбаясь.

– Ну, иди сюда. Иди, – поманил Валентин сына. Сережка смотрел на него сердито, недовольно, перевел взгляд на Любу и снова жалобно заскулил: мама...

– Ну, кому сказал! – прикрикнул Валентин.

Дома, держась то за стул, то за диван, Сережка уже мог ходить, его заносило по сторонам, но рука была хваткая, и он цепко держался, не падал, только иногда чуть вращался вокруг своей оси – довольно потешная картина...

– Ну!

Сережка вдруг помотал головой. Это у него в первый раз получилось такое: нет, мол, не пойду, хоть убейте; Валентин с Любой, переглянувшись, рассмеялись. И именно в этот момент, будто обидевшись на родителей, Сережка сделал первый шаг. Они вытаращили глаза и разом, как по команде, перестали смеяться. Сережку качало. Он пытался удержаться, даже небольшой ветер и тот, казалось, был против него, но он все же держался. Стоял хмурый. Серьезный. Сосредоточенный. И вдруг беззащитно, хотя и хитро так посмотрел на родителей, улыбнулся, заверещал от удовольствия.

Валентин быстро навел на Сережку объектив, и сын, словно поняв отца, легко, широко шагнул во второй раз – Валентин щелкнул – и плюхнулся на асфальт, лицом вперед. Удивительно – не заплакал. Люба подхватила его, поставила на ноги и, как ни смотрел он на них умоляюще, отошла в сторону.

– Ну! – снова скомандовал Валентин.

Сережка на этот раз уже осторожно, тихонько сделал шаг, постоял, как бы убеждаясь, что ничего не случилось, и, чуть запрокинув голову, счастливо засмеялся. Потом так же осторожно, не торопясь, сделал еще шаг. Еще. А потом его понесло, он заперебирал ногами и опять – плюх, готов, лежит на асфальте. На этот раз расплакался – от обиды, наверное. Люба подхватила его на руки: «Ну, ну, не плачь, хороший мальчик, не плачь, мой молодец...» – и он успокоился, перестал хныкать.

...В этот день возвращались домой счастливые. Надо же: в десять месяцев – и уже пошел! Какое, в сущности, обычное событие, пустяк, но как они радовались ему!

Дома их встретила мать. Верней, столкнулась с ними в дверях, собралась куда-то уходить. Люба, видно, забылась, закричала в радости:

– Мама, он пошел! Представляешь, пошел сегодня! – и тут же осеклась.

В глазах матери, в лице тенью скользнуло мимолетное, еле заметное оживление, радость, но она – было видно – тут же взяла себя в руки, пересилила (и как позже жалела об этом!), сделала каменное, неприступное лицо и с гордым, независимым видом прошла мимо них. Хлопнула дверь: мать оказалась по ту сторону, они – по эту.

Собственно, ссоры как таковой, какой-то одной, решительной, перевернувшей все их отношения, не было. Все случилось само собой и неприметно. Между матерью и Любой произошла мелкая стычка, каких было тысячи в их жизни, но на этот раз стычка не окончилась примирением, как обычно, а постепенно переросла Бог знает во что... Кажется, мать перед обедом съела кусок хлеба, просто, видно, захотелось хлеба, намазала кусок маслом и съела, а Люба через несколько минут, собирая на стол, вслух удивилась:

– Надо же, только вчера вечером купила буханку, а уж снова надо в магазин бежать...

– Она ничего не имела в виду, сказала просто, как часто вслух говорят хозяйки, перебирая в уме разные домашние заботы и хлопоты.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что это я съела весь хлеб? – спросила мать.

– Что? – не поняла Люба.

– Если я съела кусок хлеба, значит, я объедаю вас? Это ты хотела сказать? – Мать при всей своей гордости и независимости была чрезвычайно обидчивой и щепетильной в мелочах.

– Да ты что, в своем уме? Ты что говоришь-то? – удивленно воскликнула Люба: разливая по тарелкам суп, она так и замерла с полным половником над кастрюлей.

Видно, у матери был какой-то свой комплекс. Она всю жизнь прожила, ни от кого не завися, никогда ничем никому не была обязана, прожила трудную, сложную жизнь, вырастила двух дочерей, и вот на старости лет, живя одной семьей с дочерью, зятем и внуком, вдруг несколько растерялась, когда дети полностью взяли ее под свою опеку, сами платили за квартиру, не брали с нее ни копейки за питание (и слышать об этом не хотели!) – не уступить она не могла, а уступив, переживала, правильно ли сделала, ей все казалось, что рано или поздно ее попрекнут куском хлеба, и болезненно выискивала – бессознательно, наивно – разные признаки упреков, явных или скрытых. С Любой они ссорились всегда, всю жизнь, как всякая мать с дочерью, но раньше мать чувствовала за собой незыблемую правоту, а теперь у нее словно выбили опору из-под ног. И теперь они частенько ссорились вообще Бог знает из-за чего – из-за ничего; Люба дипломатичать не умела и не любила, она не жила – горела, и поэтому быстро вспыхивала, грубила, дерзила, даже оскорбляла. Зато через некоторое время все сходило с нее, как с гуся вода, а мать нет, мать тяжело переживала ссору, долго носила в себе обиды, могла неделями не разговаривать и делать вид, что вообще никого не замечает. Валентин, кстати, в этих ссорах всегда брал сторону матери. Иногда была права мать, иногда – Люба, но мать умела себя держать, никогда никого не оскорбляла, ее голос всегда оставался ровным, и это для Валентина имело решающее значение. Грубости и хамства Любы он и сам терпеть не мог (откуда только в ней все это было, удивлялся он, совсем не похожа на ту, с которой когда-то он познакомился...), не раз и не два говорил Любе, чтобы училась выдержке и вежливости у своей матери. Одним словом, вставая на сторону матери, он делал главное: примирял обеих. И тут как-то Валентин заметил: мать стала злоупотреблять тем, что он всегда вставал на ее сторону. Все чаще и чаще она просто капризничала, строила из себя обиженную, дольше не соглашалась на уговоры, почти ломалась, и Валентин понял: что-то, видно, он делает не так. Нельзя вечно считать правой мать. Она стала потихоньку, ровно, спокойно, выдержанно третировать дочь. А он, честно говоря, устал быть безрассудным миротворцем. Удивительно: не он ссорится с тещей, не из-за их отношений возникает часто сыр-бор, а из-за ссор и ругани матери с дочерью. Это стало его злить. Где это видано такое? Он раз сделал вид, что ничего не замечает. Мать удивилась. Второй раз. Мать оторопела. Третий. И вот тут мать обиделась: а-а, уж и зять берет сторону этой грубиянки, значит, спелись, сговорились, ясно, теперь, выходит, можно мать в

гроб загонять? – никто и слова не скажет в защиту, пожалуйста, что хотите, то и делайте с матерью, никому не жалко... И она стала звонить старшей дочери Веронике, жаловаться на жизнь, на то да се, а Вероника ей и скажи:

– Мам, ну ты сама там тоже смотри. У каждого ведь свой характер, ты что, Любу не знаешь? Надо же учитывать, а не лезть на рожон.

– Выходит, и ты встаешь на их защиту?

– Ни на чью защиту я не встаю. А просто говорю: ты с Любой лучше не связывайся. Она кричит – а ты уходи к себе в комнату и не слушай никого. Пусть себе кричит. Накричится – перестанет.

– Ну, спасибо за совет, доченька. Меня оскорбляют – а я должна поклониться еще? Спасибо, не ожидала... Ты думаешь, я с тобой просто разговариваю? Я ведь в постели лежу. Да, да. Второй день. И никто не зайдет ко мне, не спросит: мама, как ты здесь, жива еще?

– Не говори глупостей.

– Да уж, конечно, что мать может сказать умного, когда она давно выжила из ума и стоит на краю могилы...

И вот Вероника мчится через весь город, везет матери лекарства, фрукты, вареную курицу, еще что-нибудь, представляя: тут Бог знает что творится, а приезжает – всё, в общем-то, нормально, ну ссора, ну – лежит мать на диване, охает, но смотришь – за разговором да московскими разными сплетнями настроение у всех улучшается, само собой приключается перемирие, накрывают общий стол, чаёвничают, мать как всегда важная, гордая, но уже берет на руки внука, тетёшкается с ним, хотя и хватается время от времени за сердце, в общем – жизнь продолжается, и через несколько дней все идет почти в прежнем порядке, может, с одной лишь небольшой разницей – мать в ссорах теперь уповает не на зятя, а на старшую дочь, в зяте она начинает видеть недостатки, каких раньше не замечала: пьет, угрюм, такта маловато и вообще...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.